

ПРОСТРАНСТВО ГОСУДАРСТВА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ МИРЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Э. ГИББОНА И Н.М. КАРАМЗИНА

Рассматриваются проблемы корреляции между пространством государства, религиозным пространством и политической свободой в интерпретации Э. Гиббона и Н.М. Карамзина. Их историографические тексты дают возможность реконструировать те идеи, которые были предложены читателям накануне и после революции во Франции и формировали интеллектуальный контекст эпохи. Тень Рима, незримо присутствовавшая в творческой лаборатории Н.М. Карамзина, рождала тревожные ассоциации с воссозданным Э. Гиббоном процессом падения великой империи.

Ключевые слова: историографическая компаративистика; политическое, религиозное пространство.

Представители англо-шотландской историографической традиции второй половины XVIII в., рассматривающиеся в современной науке как представители философской истории [1], обращались к истории Рима как к отправной точке европейской истории. Д. Юм затронул проблемы римского прошлого в связи с исследованием начального периода истории Англии [2. С. 1–14]. В. Робертсон коснулся истории Рима в работе, посвященной истории Шотландии [3. С. 1–3], и в труде, воссоздававшем эпоху Карла V [4. С. 1–20]. «История упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона, ставшего «еще более читаемым, еще более влиятельным» исследователем, чем его великие коллеги [5. С. 179], оказала большое влияние на европейскую науку, включая российскую науку истории. Размышления Э. Гиббона и Н.М. Карамзина над возможными вариантами корреляции между изменением государственного, религиозного пространств, политической свободой и перспективой сохранения стабильности в государстве, представляется, сохраняют потенциал влияния на проблемы, с которыми столкнулась цивилизация постмодерна. Как отмечает В.Е. Матвеев, в современной империологии наиболее интересным «и по сей день является изучение Римской империи как общепризнанного эталона империи» [6. С. 227]. В этом отношении история и римской, и российской государственности, с ее «имперским проектом», «имперскостью», по терминологии Ю.М. Осипова [Там же. С. 225], может рассматриваться как часть современности, как результат «растяжения» исторического времени [7. С. 36–41]. При анализе текста «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, рассматривавшего труды «Исторического триумvirата Британии» в качестве значимого образца, обращение к труду Э. Гиббона представляет особенный интерес в контексте историографической компаративистики, призванной придать новый импульс исследованиям в области историографии отечественной истории [8].

Э. Гиббон начал писать «Историю упадка и разрушения Римской империи» по итогам своего визита в Рим в 1764 г., имея возможность учитывать выводы работы Ш. Монтескье «Размышления о причинах величия и падения римлян», появившейся тридцатью годами ранее [9]. Труд Э. Гиббона создавался в тот период, когда, по словам С. Тулмина, продолжался резкий подъем суверенитета национальных государств в Европе, когда мало кто сомневался, что следует рассматривать национальное государство как главную форму политического объединения [10. С. 139]. Приступая к анализу процесса распада римского мира, Э. Гиббон

подчеркивал, что это пространство в настоящем разделено на множество независимых, враждующих одно с другим государств [11. Ч. 1. С. 67]. Продолжая сопоставление, Гиббон отметил, что в Римской империи общая численность населения превышала население новейшей Европы, являя собой «самое многолюдное общество, какое когда-либо жило под одной и той же правительственной властью», поскольку там «число рабов, по меньшей мере, равнялось числу свободных обитателей» [Там же. С. 89]. Стремясь понять, благодаря чему держалась столь обширная политическая система, воздвигнутая, оберегавшаяся «мудростью многих веков» [Там же. С. 75], историк дал характеристику всех территорий, которые входили в Римскую империю [Там же. С. 67–73], простиравшихся «от Западного Океана до Тигра и от горы Атласа до Рейна и Дуная» [Там же. С. 223]. Тезису Гиббона противопоставит позднее свое видение пространства России Карамзин, отметив, что «никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков Африканских» [12. Т. 1. С. 14–15]. Еще Монтескье писал, что республика в Риме могла существовать до тех пор, пока ее владения ограничивались Италией [9. С. 85], но вывод Гиббона о том, что «общественную свободу поглощали обширные завоевания» [11. Ч. 1. С. 57], опирался на значительно большее собрание фактов.

Исследователь, анализирувавший в связи с римской историей особенности уклада соседей Рима, писал о полной свободе, в которой живут варварские племена, открывая поле деятельности почти для каждого члена общины. Это, по Гиббону, характерно и для той стадии, «когда общество организовалось в маленькую республику» [Там же. С. 260], которая, как и любая другая гражданская система управления, создавалась «в своей первоначальной форме» как «добровольная ассоциация в интересах общей безопасности» [Там же. С. 250]. Однако социальный строй даже первоначальной римской республики Гиббон считал несовместимым с «духом свободного народа», так как существовавшее в первые века римской республики различие между патрициями и плебеями представляло собой «самый надменный и самый цельный способ отделения знати от простого народа, какой только можно найти в каком-либо другом веке и в какой-либо другой стране» [11. Ч. 2. С. 140]. Но поскольку эти различия были отменены после продолжительной борьбы настойчивыми усилиями трибунов, в целом периоде римской республики, по Гиббону, была присуща свобода. Демократическая форма правления, полагал он, возможна, пока

«граждане исполняют функции верховной власти»; как только «власть попадает в руки громадной народной массы, неспособной держаться одного определенного направления, ее сначала злоупотребляют, а затем ее утрачивают» [11. Ч. 1. С. 79]. Если в маленьком и добродетельном сообществе было легко сохранить «баланс свободы», то когда нация, «состоявшая из солдат, должностных лиц и законодателей», достигла «абсолютного господства над многими странами Европы, Азии и Африки», она просто исчезла «в общей массе человеческого рода и смешалась с миллионами рабелепных провинциалов», и «длинный ряд угнетений ослабил в народе дух предприимчивости и истощил его силы» [Там же. С. 223]. Провинции империи, тесно связанные между собою общими законами и наслаждавшиеся «украшавшими их изящными искусствами» [Там же. С. 75], «не имели никакой политической силы, никакой конституционной свободы», а принимавшие сторону Рима свободные государства и города «награждались за это номинальным титулом союзников», затем незаметным образом впадая «в настоящее рабство» [Там же. С. 80]. Опасное однообразие системы римского управления столь обширной территорией вносило «во все части империи медленный и тайный яд»: провинции, утратив политическое могущество, лишившись самой честолюбивой части своих граждан, поступающих «ко двору или под знамена императоров», погрузились «в вялую безжизненность домашних интересов» [Там же. С. 101].

По мере усиления роли армии, преторианской гвардии свобода и достоинство республики приносились в жертву стремлению izbavit' ee от ужасов междоусобной войны [Там же. С. 218–219]. Неистовства преторианской гвардии историк рассматривал как первый симптом и главную причину упадка Римской империи [Там же. С. 145]. Именно солдаты, ненавидевшие сенат и народ [Там же. С. 217], в ситуации упрочения «опасного могущества армии» во имя разрастания пространства империи погубят свободу и республиканское устройство Рима, уничтожив еще не совсем изгладившиеся в душе римлян слабые следы уважения к законам и свободе [Там же. С. 191]. Солдаты, полагал Э. Гиббон, привыкнув «в одно и то же время и к насилию, и к рабскому повиновению, не могут быть надежными охранителями законной или гражданской конституции» [Там же. С. 202]. В словах историка о том, что легионные солдаты, пользовавшиеся званием и привилегиями римлян, «относились к устарелым названиям республики и Рима с холодным равнодушием» [Там же. С. 318], вероятно, отразилось понимание несовместимости, некомплементарности, в силу принципиальных различий на уровне системы ценностей [13. С. 80–81], римской политической культуры и культуры других сообществ, попадавших в орбиту Рима. Особенно губительным представлялось историку допущение варваров в римские армии, которое, по его словам, «становилось с каждым днем все более всеобщим, более необходимым и более пагубным» [11. Ч. 2. С. 152]. Он полагал, что влияние военной силы вообще «более ощутительно в обширных монархиях, нежели в мелких государственных единицах», добавляя при этом, что, согласно «вычислениям самых компетент-

ных политиков, всякое государство придет в конце концов в истощение, если оно будет держать более одной сотой части своих членов под ружьем и в праздности» [11. Ч. 1. С. 144].

Фатальным для римской свободы, согласно Э. Гиббону, стало и лишение Сената его прежней роли в результате регулярного отсутствия в Риме императоров, которые, «потеряв из виду сенат», легко забыли «происхождение и свойство власти, которой они были облечены» [11. Ч. 1. С. 372]. Утратив «всякую связь и с императорским двором, и с новыми учреждениями», римский сенат, который ранее мог подвергаться угнетениям, но к которому едва ли можно было относиться с полным пренебрежением, оставался, по Гиббону, «на Капитолийском холме почтенным, но бесполезным памятником древности» [Там же]. Обширностью завоеваний постепенно уничтожалось и «верховенство столицы», хотя «некоторые остатки старой конституции и сила привычки в течение долгого времени поддерживали достоинство Рима» [Там же. С. 370]. Для историка была очевидна взаимосвязь между утратой Римом статуса столицы при Диоклетиане и изменением формы правления: «Форма правления и местопребывание государственной власти были так тесно связаны между собой, что казалось невозможным изменить второе, не уничтожив первой» [Там же]. Власть императоров, полагал историк, стала абсолютной именно после изменения статуса Рима, поскольку лишь только монархи «выбрали для себя постоянное местопребывание вдалеке от столицы», «они навсегда отложили в сторону то притворство, которое Август рекомендовал своим преемникам» [11. Ч. 1. С. 372]. Введение «новой формы гражданского и военного управления» обусловило основание новой столицы, хотя Риму удалось удержать за собой «легальное и всеми признанное первенство», чему способствовал его «возраст, достоинство и воспоминания о прежнем величии» [11. Ч. 2. С. 135]. Отмечая, что Константинополь возник «в ущерб старинным городам империи», а не вследствие размножения человеческого рода или развития промышленной деятельности [Там же. С. 133], историк подчеркивал геополитические причины возведения города, «из которого как будто сама природа хотела сделать центр и столицу великой монархии» [Там же. С. 127].

Говоря об истоках политической системы Диоклетиана, историк выдвигал на первый план личный фактор: переход к новой системе объяснялся им нерасположением императора «к Риму и римской свободе» [11. Ч. 1. С. 371]. Но в данном случае вряд ли стоит видеть в этом абсолютизацию роли личности в истории. Это, скорее, попытка взглянуть на события глазами человека, действительно вершившего историю, представить его субъективный взгляд на те перемены, которые он вводил, располагая реальными властными полномочиями. Отметив, что «даже могущество сыновей Юпитера и Геркулеса не было достаточно для того, чтобы выносить бремя государственного управления», Гиббон, по сути, признал правомерность выводов Диоклетиана о том, что «со всех сторон атакованная варварами империя требовала повсюду большой армии и личного присутствия императора» [Там же. С. 352].

что, впрочем, не спровоцировало историка на идеализацию его реформ.

Обширность Римской империи, по Гиббону, имела особенно зловещие последствия именно потому, что «обнимала весь мир, и, когда она подпадала под власть одного человека, весь мир обращался в надежную и страшную тюрьму для его врагов»: жертву императорского деспотизма «со всех сторон окружали обширные моря и страны», где «беглец был бы непременно открыт, схвачен и отдан во власть своего разгневанного повелителя», а за пределами империи его беспокойные взоры «не открыли бы ничего, кроме океана, негостеприимных степей, враждебных варварских племен... или зависимых от Рима королей...» [11. Ч. 1. С. 125]. Даже создание почты, столь важной для огромной империи, явилось, по Гиббону, новым ударом по свободе граждан, так как при новом ведомстве была создана и быстро разрослась сеть агентов, официальных шпионов, поощряемых к тому, чтобы они «тщательно выслеживали возникновение каких-нибудь изменнических замыслов, начиная со слабых и тайных выражений неудовольствия и кончая деятельными приготовлениями к открытому восстанию» [11. Ч. 2. С. 157–158]. Однако, отмечал историк, для «миллионов простого народа страшно не столько жестокосердие, сколько корыстолюбие их правителей» [Там же. С. 159], а введенная Диоклетианом административная система обусловила «увеличение расходов на управление и как следствие увеличение налогов и угнетение народа» [11. Ч. 1. С. 375]. Гиббон весьма скептически отнесся к тезису Монтескье о том, что в силу неизменяемых законов природы общий размер общественных налогов всегда увеличивается с ростом свободы и уменьшается с развитием рабства, полагая, что данное соображение остроумного философа клонится «к тому, чтобы ослабить вред деспотизма» [11. Ч. 2. С. 159]. В этом отношении ему представлялся чрезвычайно показательным исторический пример Рима, где «одни и те же императоры отняли у сената его права, а у провинций – их богатства» [Там же].

Но Гиббон не был склонен давать абсолютно негативную оценку политической системе императорского Рима. В отличие от азиатских монархий, с их деспотизмом в центре и слабостью на окраинах, с подданными, которые «хотя и неспособны к свободе, однако склонны к мятежу», в римских владениях, где покоренные народы «отказались от надежды и даже утратили желание возратить себе независимость», повинение было повсеместное, добровольное и постоянное [11. Ч. 1. С. 90]. Историк пришел к выводу, что «если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Комода», когда Римская империя при всем своем громадном пространстве управлялась абсолютной властью, руководительницами которой были добродетель и мудрость» [Там же. С. 122]. Вероятно, Гиббону было важно вызвать у читателей определенные ассоциации с просвещенным абсолютизмом, «приблизить» минувшее путем неявно выраженных аналогий, хотя он

вполне понимал непрочность воссозданной им политической конструкции и отметил далее возможность приближения того гибельного момента, когда «какой-нибудь распутный юноша или какой-нибудь завистливый тиран употребит на дело разрушения ту абсолютную власть, которую они пользовались для блага народа» [Там же].

Стремясь взвесить все «pro et contra» чрезмерной обширности империи, исследователь признавал, что «могущество Рима имело некоторые благотворительные последствия для человечества», поскольку «удобство взаимных международных сношений» способствовало распространению не только пороков, но и «улучшений в общественной жизни» [Там же. С. 97]. Гиббон выделил факторы, которые еще продлевали ее дни, отметив, что «хотя законы нарушались деспотизмом или извращались лукавством, мудрые принципы римской юриспруденции все еще поддерживали понятия о порядке и справедливости, не знакомые деспотическим правительствам востока» [11. Ч. 2. С. 167]. Но, полагал он, по мере утраты даже подобия «тех добродетелей, источником которой была их старинная свобода», по мере распространения, взамен простоты римских нравов, влияния «блестящей вычурности азиатской придворной обстановки» [Там же. С. 136], все те принципы, «которые когда-то поддерживали величие и нравственное достоинство Рима и Спарты, уже давно исчезли в разрушавшейся деспотической империи» [Там же. С. 235]. Таким образом, Гиббоном была прослежена логика трансформации политического пространства в растянувшийся на несколько веков переходный период, логика нестабильности, приведшая к исчезновению Римской империи с политической карты мира. Разделение Европы на множество самостоятельных государств, по мнению Э. Гиббона, «имело самые благотворные последствия для свободы человеческого рода», поскольку жертва тирании, переступив узкие границы владений тирана, «легко нашел бы в какой-нибудь более счастливой стране верное убежище, соответственную его личным достоинствам новую карьеру, свободу жаловаться и, может быть, средства отмщения» [11. Ч. 1. С. 125].

В творчестве Карамзина отнюдь не единичны сопоставления России, «сей единственной Державы», при взгляде на которую «мысль цепенеет» [12. Ч. 1. С. 14], с Римской империей. Еще в «Историческом похвальном слове Екатерине II», отметив, что «Рим, которого именем целый мир назывался, в едином самодержавии Августа нашел успокоения после всех ужасных бедствий и мятежей своих», он признал правомерность аргументов Екатерины II в пользу самодержавного образа правления «для неизмеримой Империи», позволяющего «блюсти порядок и согласие», подобно «Творческой Воле, управляющей вселенною» [14. С. 311–312]. В главном своем труде Карамзин подчеркивал, что уже «в самый первый век бытия своего Россия превосходила обширностью едва ли не все тогдашние Государства Европейские» [12. Т. 1. С. 163]. В «Записке о древней и новой России», упомянув о Риме, сокрушенном «мышцею варваров северных», он объяснил столь стремительное разрастание территории России, вошедшей в ту «новую, общую систему», которая

основалась в Европе «на развалинах владычества римского», единовластием и пылкой, романтической страстью «наших первых князей к завоеваниям» [15. С. 16–17]. Однако, как заметит позднее Питирим Сорокин, социальное пространство не измеряется числом квадратных миль [16. С. 663]. Подход Гиббона, судя по проводимому им сопоставлению пространства Римской и Российской империй, был аналогичен: «Не одной только быстротой или обширностью завоеваний должны мы измерить величие Рима. Ведь государь, царствующий над русскими степями, имеет под своею властью еще более обширную часть земного шара» [11. Ч. 1. С. 74].

Карамзин признавал, что славяне, покорившись князьям, сохранили «некоторые обыкновения вольности», что участие граждан в управлении могло давать им «смелость, неизвестную в Державах строгого, неограниченного Единовластия» [12. Т. 1. С. 163–164]. С точки зрения историка, правление в период политической раздробленности «соединяло в себе выгоды и злоупотребления двух, один другому противных, государственных уставов: самовластия и вольности» [12. Т. 3. С. 465]. Характеризуя удельную Русь, Карамзин выражал сожаление о том, что Россия, «по кончине Всеволода Георгиевича, осиротела без Главы, и сыновья его совсем не думали быть Монархами», и некому было «восстановить Единовластие» [Там же. С. 463]. Он обращал внимание читателей на взаимосвязь между формой правления и масштабами государственного пространства: «Самовластие Государя утверждается только могуществом Государства и в малых областях редко находим Монархов неограниченных» [Там же. С. 466]. Для него была ясна потребность в «единой и тайной мысли для намерения, единой руки для исполнения», поскольку «ни шумные сонмы народные, ни медленные думы Аристократии не произвели бы сего действия» [12. Т. 5. С. 205]. Власть боярская, по Карамзину, «производила у нас *Боярские смуты*», бояре «не редко питали междоусобие Князей»; перспектива власти народной также вызвала у историка сомнение, поскольку народ «ободряется и совершает великое», лишь служба «орудием, движимый, одушевляемый силою правителей» [Там же].

Параллели с Римом позволили российскому историку в афористичной форме подчеркнуть взаимосвязь между пространственными характеристиками своего отечества и формой его правления: «Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия, обширный труп после нашествия Батыева, могла ли иным способом оживиться и воскреснуть в величии?» [Там же]. Полагая, что «если бы Россия была единовластным государством», то «она не уступила бы в могуществе никакой Державе своего времени» и «спаслась бы, вероятно, от ига татарского» [12. Т. 3. С. 478–479], Карамзин делал выбор в пользу единовластия. Характерно, что преимущества такого выбора обосновывались историком прежде всего тем, что Россия, находясь в тесных связях с Грецией, «не отстала бы от иных земель Европейских в гражданском образовании» [Там же. С. 479]. Воссоздавая реалии времен Иоанна III, он отметил, что образовалась «Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое

место в их системе политической [12. Т. 6. С. 5]; «Москва сделалась Византиею» [Там же. С. 222], т.е. Третьим Римом, центром православия. Отметив, что «Россия Олегава, Владимирова, Ярославова погибла в нашествие Моголов», а «Россия нынешняя образована Иоанном», он подчеркнул роль личностных качеств носителей властных полномочий, обеспечивающих единство политического пространства, поскольку «великие Державы образуются не механическим слеплением частей, как тела минеральные, но превосходным умом Державных» [Там же. С. 213]. Два государя, Иоанн III и Василий III, согласно Карамзину, «умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимою принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственною основою целости ее, силы, благоденствия», «чтобы Россия спаслась и была великою державою» [12. Т. 7. С. 224–225]. Если Александр Македонский оставил миру лишь славу, то Иоанн III, подчеркивал Карамзин, «оставил государство удивительное пространством» [12. Т. 6. С. 213], а государя, подобные Василию III, «сохраняют, утверждают Державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны Провидению» [12. Т. 7. С. 195].

Для историка представлялось очевидным, что «нет свободы, когда нет силы защитить ее» [12. Т. 6. С. 31]. Воссоздавая историю Московского царства, Карамзин не скрывал своей симпатии к ушедшим в прошлое проявлениям народной свободы. Отмечая, что при монголах легко и тихо совершилось то, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III во Владимире, Карамзин с сожалением писал о том, что «везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк Вечевою колокол, глас высшего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству Славяно-Россов» [12. Т. 5. С. 204]. Следует особо отметить убежденность историка в том, что представление россиян о великом князе как исполнителе «воли небесной» сформировано самими властителями, а не является исконным свойством народа [12. Т. 7. С. 224]. В то же время он полагал, что «особа венценосцев в монархическом государстве *неприкосновенна*» (выделено Н.К.), «или мы должны отвергнуть необходимый устав монархии» [12. Т. 8. С. 47–48]. С точки зрения Карамзина, прежде всего для блага гражданских обществ важно, чтобы худых царей наказывали «только Бог, совесть, история» [Там же. С. 48], но и злодеяния монарха не могут быть оправданы выгодой государственной, так как «нравственность существует не только для частных людей, но и для Государей» [12. Т. 6. С. 147]. Вслед за И. Кантом Карамзин пишет, что «они должны поступать так, чтобы правила их деяний могли быть общими законами», в том числе и по отношению к иноземным правителям: «Кто же устави́т, что Венценосец имеет право тайно убить другого, находя его опасным для своей Державы: тот разрушит связь между гражданскими обществами, устави́т вечную войну, беспорядок, ненависть, страх, подозрение между ими, совершенно противные их цели, которая есть безопасность, спокойствие, мир» [Там же].

Карамзин не ставил перед собой задачу довести свой труд до императорского периода, хотя и не ис-

ключал вероятности написания обозрения новейшей отечественной истории [17. С. 169]. Имея возможность включить анализ имперской специфики в характеристики взаимоотношений государей российских с императорами Максимилианом и Карлом V, с могущественной Оттоманской империей [12. Т. 6. С. 203–204, 128–139; Т. 7. С. 219–220 и др.], Карамзин, скорее всего, не считал возможным будоражить умы читателей Российской империи предчувствием повторения судьбы Рима. Сформулировавший по итогам революции во Франции тезис, гласивший, что власть гражданского порядка «для народов не тиранство, а защита от тиранства» [18. С. 361], Карамзин не ставил под сомнение преимуществ обширного государства. Пришедшийся на период создания «Истории государства Российского» военный триумф его отечества, выстоявшего в противоборстве с армией страны, сделавшей в конце XVIII в. самую радикальную в истории Европы попытку обновить свою политическую систему и в итоге пришедшей к провозглашению, а затем – к падению империи, вероятно, давал историку основание считать, что российская государственность выдержала проверку временем.

Стремясь объяснить читателям, каким образом покоренные народы «слились незаметным образом под общим именем римлян в одну нацию», Э. Гиббон подчеркивал важность греческого и латинского языков, каждый из которых «имел по всей империи свою особую сферу: греческий язык был натуральным языком науки, а латинский – легальным языком для всех общественных дел», «языком и гражданского и военного управления», так что «между жившими в провинции образованными римскими подданными едва ли можно было найти хоть одного, который не был бы знаком ни с греческим, ни с латинским языком» [11. Ч. 1. С. 84]. Однако эта однообразная система искусственного чужеземного воспитания предопределила, по Гиббону, отсутствие сколько-нибудь заметных достижений в области культуры у жителей провинций, которые оказались не в состоянии «соперничать с теми бодрыми народами древности, которые, выражая свои искренние чувства на своем родном языке, уже заняли все почетные места в литературе» [Там же. С. 102]. Когда Гиббон характеризовал «первые признаки раздора и раскола между церквями греческой и латинской, он акцентировал внимание читателей на том, что, по его мнению, их разделяло «случайное различие верований и неизменное различие языка» [11. Ч. 2. С. 295]. Фактор языковой общности, облегчающей саму возможность коммуникаций, представлялся историку более важным, нежели совпадение в деталях трактовки религиозных проблем.

Как важнейшее условие развития народов рассматривал языковую общность и Н.М. Карамзин. Историк обращал внимание читателей на языковую ситуацию, сложившуюся после принятия христианства и создания «книжного языка Славянского на Греческой Грамматике», с присущим ей сосуществованием двух языков, книжного и народного [12. Т. 1. С. 172–173]. Он видел во всеобщем употреблении в Европе «языка Латинского», доставлявшего способ «и духовным, и мирянам черпать мысли и познания в творениях древних, уцелевших в наводнение варварства», значимое, недо-

ступное россиянам преимущество [12. Т. 5. С. 201]. При описании приезда Софьи Палеолог историк снова подчеркнул важность для его соотечественников знания латинского языка, необходимого тогда «для внешних дел государственных» [12. Т. 6. С. 45], для вхождения в европейское политическое пространство.

В труде Гиббона отмечено, по сути, изменение семантики тех привычных для римлян слов, которые, по мере утраты былыми республиканцами прежней свободы, превращались в символы новой эпохи. Так, слово «император» означало уже не генерала римских армий, а владыку Римской империи» [11. Ч. 1. С. 372]. Присоединенный к нему эпитет *Dominus*, т.е. господин, имевший, по словам историка, «отвратительный смысл», создавал абсолютно новую ситуацию: он низводил статус граждан бывшей республики к уровню домашних рабов [Там же. С. 373]. Будучи внесен из речей льстецов в законы и официальные документы, он возносил фигуру императора на немислимую ранее высоту. Но, полагал историк, став привычным, данный эпитет постепенно утратил свой первоначальный уничижительный смысл, поскольку, «когда слух свыкается с этими звуками, они перестают производить впечатление и кажутся не более как неопределенными, хотя и преувеличенными изъявлениями уважения» [Там же]. Карамзин также считал необходимым за титулами властителей и самоназванием подданных видеть подлинную природу их статуса и отношения к монарху. Анализируя текст Герберштейна, упоминавшего, что «самые вельможи назывались *холопами* государя», Карамзин подчеркивал, что «имя не вещь: оно изображало только неограниченную преданность россиян к монарху; а в самом деле народ пользовался гражданской свободой» [12. Т. 7. С. 238].

Представляется интересной точка зрения Э. Гиббона по поводу отказа римских властителей от термина «король»: с точки зрения престижа власти использование титула «император» было более респектабельной идеей, поскольку «повсюду, где был в употреблении латинский язык (а он был правительственным языком на всем пространстве империи), императорский титул, исключительно принадлежавший римским монархам, внушал более уважения», а титул короля римским властителям «пришлось бы разделять со множеством варварских вождей», живших вдоль границ огромной империи [11. Ч. 1. С. 373]. Карамзин также уделил внимание проблеме титулов российских государей. Он отметил, что Иоанн III гордился «древним именем Великого Князя», позитивно оценил отсутствие у него стремления провозгласить себя императором, сопоставил его с Петром I, который, напротив, «думал себя возвысить чужеземным названием Императора» [12. Т. 6. С. 214]. Историк считал необходимым подчеркнуть отказ и Иоанна III, и Василия III от титула короля «вопреки басням иностранных писателей, которые думали, что наши великие князья издавна домогались королевского титула» [12. Т. 7. С. 208]. Вероятно, согласно Карамзину, это свидетельствовало о самостоятельности российской государственности, неготовности занять подчиненное место в системе европейской межгосударственной иерархии.

С точки зрения Гиббона, специфические особенности азиатского политического пространства, вытес-

навшие по мере расширения римских границ античные начала, проявлялись в невероятной изощренности пространства иерархии внутри империи, обеспечивавшей усилиями множества презренных слуг поддержку «существующего правительства из страха революции, которая могла разом уничтожить их надежды и лишить их наград за их услуги» [11. Ч. 2. С. 136–137]. Гиббон подчеркивал, что отличия, основанные на личном достоинстве и влиянии, которые «так ярко бросаются в глаза в республиках, но так слабы и незаметны в монархиях, были уничтожены деспотизмом императоров, которые заменили их строгой субординацией чинов и должностей, начиная с титулованных рабов, восседавших на ступенях трона, и кончая самыми низкими орудиями неограниченной власти» [Там же. С. 136]. Зависть и тщеславие, господствовавшие в среде чиновной бюрократии, вынуждали Диоклетиана и его преемников «дробить власть и умножать титулы» [Там же. С. 145]. Выставка величия и разделение властей стали, по Гиббону, основополагающими принципами системы Диоклетиана [11. Ч. 1. С. 374]. Первый из них пережил века, тогда как второй, признанный Диоклетианом «основным законом конституции», существовал только «до тех пор, пока его не перестала поддерживать твердая и ловкая рука его изобретателя» [Там же. С. 375, 383]. По итогам реформ Константина, ослабивших «энергию государства, обеспечив спокойствие монарха» [11. Ч. 2. С. 149], обширные страны, которые были объединены римскими завоевателями под одной и той же несложной формой управления, равнявшиеся своими размерами могущественному королевству, мало-помалу раздробились «на сто шестнадцать провинций, из которых каждая должна была содержать дорогостоящий и блестящий штат чиновников» [Там же. С. 144–145].

Историк акцентировал внимание на театральности происходивших в Риме трансформаций: «как и притворная скромность Августа, пышность Диоклетиана была театральным представлением», причем, по его мнению, «в первой из этих двух комедий было более благородства и истинного величия, чем во второй», так как при Диоклетиане не прикрывалась, а выставлялась напоказ неограниченная власть монарха над всей империей [11. Ч. 1. С. 374]. Гиббон связывал с развертыванием «выставки величия» утрату латинским языком своей чистоты «вследствие того, что, с одной стороны, гордость, а с другой – лезть ввели в него множество таких эпитетов, которые Цицерон едва ли был в состоянии понять и которые Август отверг бы с негодованием» [11. Ч. 2. С. 137]. Процесс бюрократизации системы управления сопровождался введением напыщенной иерархии титулов: «Ваше *Чистосердие*, Ваша *Степеньность*, Ваше *Превосходительство*, Ваше *Высокопреосвященство*, Ваше высокое и удивительное *Величие*, Ваше знаменитое и великолепное *Высочество*», появился необыкновенный титул «*графа священных щедрот*» [Там же. С. 137, 155]. Насыщенное множеством «мелочных и торжественных церемоний, которые было нелегко заучить и нарушение которых считалось святотатством», новое пространство иерархии генерировало пространство политического театра в небывалых прежде масштабах, так что «наблюдатель-философ мог бы принять систему римского управления за великолеп-

ный театр» [Там же. С. 137]. Историк с немалой иронией описал затейное из политических расчетов театральное представление, которое состоялось после смерти Константина, когда каждый день в назначенные часы главные военные и придворные сановники приближались к особе своего уже мертвого государя, «преклоняли колена и выражали ему свою почтительную преданность так же серьезно, как если бы он был еще в живых» [Там же. С. 182]. Строки, посвященные историком этому ритуалу, вполне могут свидетельствовать в пользу вывода Х. Уайта о том, что Гиббон, наряду с другими историками и философами эпохи Просвещения, в конечном итоге пришел «к Ироническому, по существу, взгляду на историю» [19. С. 57].

Восприятие сферы политики как «театра мира», где действуют «не один ум, но и страсти», «необузданность властолюбия, зависть, козни, битвы и бедствия» [12. Т. 6. С. 220], характерно и для Карамзина, что проявилось, в частности, в том, как воссоздавались им образы действующих лиц, выстраивались отдельные главы, целые тома, «История» в целом. Но в тексте его труда параллели с театром проводились преимущественно при характеристике европейской политической сцены с ее сложной иерархией взаимоотношений между королями, императором, папой Римским, с ее «редким собранием венценосцев», каковы были Максимилиан, Карл V, Людовик XII, Франциск I и др. [Там же. С. 219].

Несомненно, важнейшую роль в поддержании римской государственности Гиббон отводил религиозному фактору. Неотъемлемой особенностью политического пространства древнего мира, согласно Э. Гиббону, была религиозная гармония [11. Ч. 2. С. 7]. Расширение пространства Римской империи провоцировало все большую пестроту конфессиональной карты римского мира. Рим, по словам историка, «постепенно обратился в общий храм своих подданных, и права гражданства были дарованы всем богам человеческого рода» [11. Ч. 1. С. 79]. Особая форма организации политического пространства порождала возможность мирного сосуществования вполне комплиментарных языческих культов, в рамках которых «божества тысячи роц и тысячи источников мирно пользовались своим местным влиянием» и каждый город «имел право поддерживать свои древние религиозные церемонии во всей их чистоте» [Там же. С. 78–79]. Проявленная политической элитой Рима в новой ситуации религиозная терпимость становилась значимым властным ресурсом, ее представители «понимали и ценили пользу религии в ее связи с гражданским управлением» [Там же. С. 77]. Историк писал: «Все многообразные виды богослужения, существовавшие в римском мире, были в глазах народа одинаково истинны, в глазах философов одинаково ложны, а в глазах правительства одинаково полезны» [Там же. С. 75]. Свобода вероисповедания, хотя и нарушаемая отдельными эксцессами, поддерживала режим несвободы в целом как на уровне провинций, так и непосредственно в Риме, создавая ту нишу, где отдельные социальные группы и личности еще в состоянии были делать собственный выбор или придерживаться выбора, освященного веками. Несмотря на то что этому единому в своей фрагментарности религиоз-

ному подпространству Римской империи противостояло подпространство философское, в рамках которого, по словам историка, благородное юношество «научалось во всякой школе отвергать и презирать религию толпы» [Там же. С. 76], это противостояние не принимало сколько-нибудь опасные формы, сглаживаясь привычным конформизмом, поскольку философам «было все равно, в какую бы форму ни облекалось безрассудство толпы» [Там же. С. 77].

Однако политеизм, по Гиббону, был слаб именно умеренностью своих притязаний, совместимостью благочестия язычников с «самым необузданным скептицизмом», отсутствием «нераздельной и правильной системы, способной подчинить себе все умственные способности верующего» [11. Ч. 2. С. 347]. Не было у политеизма «ни богословских принципов, ни нравственных правил, ни церковной дисциплины», поэтому даже «Юлианова гения и могущества было недостаточно» для восстановления такой религии [Там же. С. 357]. Как писал историк, именно тогда, когда «явное насилие раздирало это громадное политическое тело, а тайные причины упадка подтачивали его силы, чистая и смиренная религия тихо закралась в человеческую душу, ...и наконец водрузила победоносное знамение креста на развалинах Капитолия», причем ее влияние не ограничилось ни продолжительностью существования, ни пределами Римской империи [Там же. С. 6]. В самом центре Римской империи образовалось самостоятельное, беспрестанно расширявшееся государство, отличавшееся единством и дисциплиной, что и явилось одной из важнейших причин успеха новой религии [Там же. С. 6–7]. Со временем, полагал Гиббон, когда «христиане мало-помалу распространялись по всем провинциям и почти по всем городам империи», размеры и продолжительность духовного заговора сторонников христианства делали его все более и более достойным монаршего негодования [Там же. С. 69–70]. Распространению христианских идей способствовали и завоевания римлян, поскольку римские провинции, связанные между собой «самыми тесными узами законодательства, нравов и языка» [Там же. С. 51], были соединены для облегчения передвижения легионов столь прочными дорогами, «что их не могли совершенно разрушить усилия пятнадцати столетий» [11. Ч. 1. С. 96]. Это предоставило миссионерам возможность легко перемещаться из Дамаска в Коринф и из Италии до окрестностей Испании или Британии [11. Ч. 2. С. 52].

Английский историк признавал перемену национальной религии важной и опасной, ставшей возможной лишь благодаря непреодолимому могуществу римских императоров [11. Т. 2. С. 250]. Хотя, как замечал Гиббон, на стороне христиан со времени Константина уже были «все мотивы авторитета и моды, интереса и рассудка», их «победоносное влияние» проникло повсюду только тогда, когда «протекли два или три поколения» [Там же. С. 315]. Религиозные гонения стали неизбежным следствием противостояния политеизма и христианства при Юлиане, несмотря на то что тот, по словам историка, «не был равнодушен к выгодам, доставляемым общественной свободой» [Там же. С. 338]. Сужение пространства свободы в данном случае исто-

рик объяснял неспособностью всемогущего императора встать над этим противостоянием, ибо, «когда отец своего отечества объявляет себя вождем партии, он лишается возможности обуздывать народную ярость и поступил бы непоследовательно, если бы стал ее наказывать» [Там же. С. 374].

Рассматривая Миланский эдикт как «великую хартию толерантности», Гиббон отмечал, что в будущем, после их триумфа, христиане использовали уже против своих оппонентов применявшиеся к ним ранее методы, и «торжество христианства обратилось в невыносимый гнет для тех сект, которые не сходились в убеждениях с католической церковью» [Там же. С. 263]. С его точки зрения, «во время своих внутренних раздоров христиане причинили гораздо больше зла друг другу, чем потерпели от усердия неверующих» [Там же. С. 120], а римская церковь «охраняла насилием то владычество, которое она приобрела обманом; система мира и милосердия скоро была запятнана ссылками, войнами, убийствами и учреждением инквизиционного суда» [Там же]. Гиббон считал необходимым напомнить читателю о том, что число протестантов, казненных только в одной провинции в Нидерландах в царствование Карла V, «далеко превосходит число древних мучеников, пострадавших в течение трех столетий на пространстве всей Римской империи» [Там же. С. 120–121]. Более того, он подчеркивал, что поведение римских императоров «никоим образом не было столь преступно, сколь поведение тех новейших монархов, которые употребляли орудия насилия и страха против религиозных мнений какой-либо части своих подданных» [Там же. С. 72]. Согласно Гиббону, «какой-нибудь Карл V или Людовик XIV мог бы почерпнуть из своего ума, или даже из своего собственного сердца, правильное понятие о правах совести, об обязанностях веры и невинности заблуждения», в отличие от властителей Рима, чуждых тем принципам, которыми «вдохновлялось и оправдывалось непреклонное упорство христиан в деле истины» [Там же].

Процесс вытеснения языческого религиозного пространства христианским в труде Э. Гиббона рассмотрен значительно подробнее, чем в «Истории» Н.М. Карамзина. Вероятно, здесь нельзя не учитывать, что Гиббон писал об изменениях в государственном организме, уже имевшем тысячелетнюю историю, тогда как Карамзин рассматривал нововведения в государстве, едва перевалившем за сотню лет. На вопрос о мотивах обращения Константина и кн. Владимира в христианство оба историка не дали однозначного ответа. Гиббон предоставил читателю самому судить о том, вытекала ли столь важная перемена «из его благочестия, или из его политики, или из его убеждений, или из его угрызений совести» [Там же. С. 111]. Благоразумный правитель, по Гиббону, должен был с удовольствием взирать на успехи религии, распространившейся в народе такую чистую, благоверную и всеобщую систему нравственности [Там же. С. 235] в условиях угрожающего упадка римских нравов. Не могло не казаться «самой выдающейся и самой полезной из всех евангельских добродетелей» и пассивное повиновение власти [Там же. С. 236]. Мирские расчеты также могли увлечь Константина, ведь христианство было благоприятно «и для

его славы, и для его возвышения» [Там же. С. 244–245]. Согласно Карамзину, подлинные мотивы крещения кн. Владимира известны Богу, а не людям, тем не менее им обозначена дилемма, аналогичная предложенному Э. Гиббоном перечню альтернатив: «Истинное ли уверение в святине христианства, или... одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с Государями Византийскими решило его креститься?» [12. Ч. 1. С. 161].

Представленный Н.М. Карамзиным вариант презентации летописного материала позволял читателям проследить, как уходило в прошлое право церкви отстаивать интересы прихожан, постепенно подменяя диалог устойчивым монологом светской власти, свертыванием пространства свободы не только для духовенства, но и для мирян. Многократное воспроизведение на страницах «Истории государства Российского» ритуалов, связанных с культом князей-мучеников, Бориса и Глеба [12. Т. 2–3. С. 51, 92, 98, 124, 147, 403], давало возможность увидеть истоки традиции единения власти и церкви, а афористичные тезисы Карамзина воспроизводили основной контур их взаимоотношений: «Великие Князья всегда располагали Митрополиею, и нет примера в нашей Истории, чтобы власть духовная спорила с ними о сем важном праве» [12. Т. 4. С. 124]; «Искони Духовные Российские Пастыри благославляли

Государей при восшествии их на престол, и сей обряд совершался в церкви» [12. Т. 6. С. 169].

Политическое пространство Рима и России, таким образом, зримо определялось пересечениями с религиозным пространством в трудах Э. Гиббона и Н.М. Карамзина. Как и Э. Гиббон, Н.М. Карамзин видел в деятельности правителей источник позитивных или негативных поворотов в истории целых народов. Оба историка воссоздавали политическую историю как мир театра, с его героями и злодеями, интригами и случайными поворотами сюжета. При сопоставлении подходов Э. Гиббона и Н.М. Карамзина становится очевидной значимость того обстоятельства, что Карамзин создал труд, посвященный отечественному прошлому, а не истории чужой, давно исчезнувшей государственности. В сравнении с обстоятельным анализом Гиббона, опиравшегося на многовековой опыт европейского историописания, оценки Карамзина и лаконичнее, и осторожнее. Тень Рима, незримо присутствовавшая в его творческой лаборатории, рождала тревожные ассоциации с воссозданным Э. Гиббоном процессом падения великой империи, обуславливая появление как прямых параллелей и противопоставлений, так и неявных предупреждений, адресованных соотечественникам.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Francesconi Daniele*. Review of Brown, S.J., ed., William Robertson and the Expansion Of Europe, Cambridge, Cambridge Un.Press 1997 // Cromohs 3 (1998): 1–5. URL: http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3_98/francesconi.html
2. *Hume D.* The history of England from the invasion of Julius Ceasar to the revolution in 1688. London, 1862. Vol. 1–8.
3. *Robertson W.* The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI // Robertson W. The works of W. Robertson in twelve volumns. Edinburgh, London, 1819. Vol. 1.
4. *Робертсон В.* История государствования императора Карла V. 1775. Т. 1–2.
5. *Мейнке Ф.* Возникновение историзма. М., 2004.
6. *Матвеев В.Е.* Конструкт «империя» в современной исследовательской практике // Вестник Томского государственного университета. 2006. № 124. С. 223–230.
7. *Сыров В.Н.* Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М., 2006.
8. *Рудковская И.Е.* Историографическая компаративистика: возможные грани исследования // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век : материалы Междунар. науч. конф. М., 2008. С. 262–264.
9. *Монтескье Ш.* Размышления о причинах величия и падения римлян // Избранные произведения. М., 1955. С. 47–156.
10. *Toulmin S.* Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity. Chicago, 1990.
11. *Гиббон Э.* История упадка и разрушения Римской империи. СПб., 1997. Т. 1–2.
12. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. М., 1989. Т. 1; М., 1991. Т. 2–3; М., 1992. Т. 4; М., 1993. Т. 5; М., 1998. Т. 6.
13. *Кокаревич М.Н.* К возможности формирования толерантного отношения между культурами // Материалы I Международной конференции «Исследования мира и миротворческий дискурс в системе образования». Томск, 2007.
14. *Карамзин Н.М.* Сочинения. СПб., 1848. Т. 1. С. 275–380.
15. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.
16. *Сорокин П.А.* Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.
17. *Письма Н.М. Карамзина к кн. П.А. Вяземскому. 1810–1826.* (Из Остафьевского Архива). СПб., 1897.
18. *Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников.* Материалы для биографии. М., 1866. Ч. 1.
19. *Уайт Х.* Метаистория. Екатеринбург, 2002.

Статья представлена научной редакцией «История» 30 июля 2012 г.